# Факкино

***Неповоротлив и тяжел,
как мокрое полено,
я с чемоданами сошел
на пристани в Палермо.

Сходили чинно господа,
сходили чинно дамы.
У всех одна была беда —
все те же чемоданы.

От чемоданов кран стонал —
усталая махина,
и крик на пристани стоял:
«Факкино! Эй, факкино!»

Я до сих лор еще всерьез
не пребывал в заботе,
когда любую тяжесть нес
в руках и на загорбке.

Но постаренье наше вдруг
на душу чем-то давит,
когда в руках — не чувство рук,
а чувство чемоданов.

Чтоб все, как прежде, по плечу,
на свете нет факира,
и вот стою и вот кричу:
«Факкино! Эй, факкино!»

И вижу я: невдалеке
на таре с пепси-колой
седым-седой сидит в теньке
носильщик полуголый,

Он козий сыр неспешно ест.
Откупорена фляжка,
На той цепочке, где и крест, —
носильщицкая бляшка.

Старик уже подвыпил чуть.
Он предлагает отхлебнуть,
он предлагает сыру
и говорит, как сыну:

«А я, синьор, и сам устал,
и я бы встал, да старый стал —
уж дайте мне поблажку.
Синьор, поверьте — тяжело
таскать чужое барахло
и даже эту бляшку.

И где, синьор, носильщик мой,
когда один тащу домой
в одной руке — усталость,
в другой — тоску и старость!

Синьор, я хныкать не люблю,
но тело, как мякина,
и я шатаюсь и хриплю:
«Факкино! Эй, факкино!»

Отец, я пью, но что-то трезв.
Отец, мне тоже тяжко.
Отец, единственный мой крест —
носильщицкая бляшка.

Как сицилийский глупый мул,
таскаю бесконечно
и тяжесть чьих-то горьких мук
и собственных, конечно.

Я волоку, тая давно
сам над собой усмешку,
брильянты мира и дерьмо,
а в общем, — вперемешку.

Обрыдла эта маята.
Кренюсь: вот-вот я рухну.
Переменил бы руку,
но нет, не выйдет ни черта:
другая тоже занята.

Ремни врезаются в хребет.
В ладони окаянно,
полны обид, подарков, бед,
врастают чемоданы.

И все бы кинуть наконец.
Но жалко мне — не кину,
да и кому кричать, отец:
«Факкино! Эй, факкино!»

Мы все носильщики, отец,
своих и старостей, и детств,
любвей полузабытых,
надежд полуубитых.

И все носильщики влачат
чужой багаж безвинно,
и все носильщики кричат:
«Факкино! Эй, факкино!»***